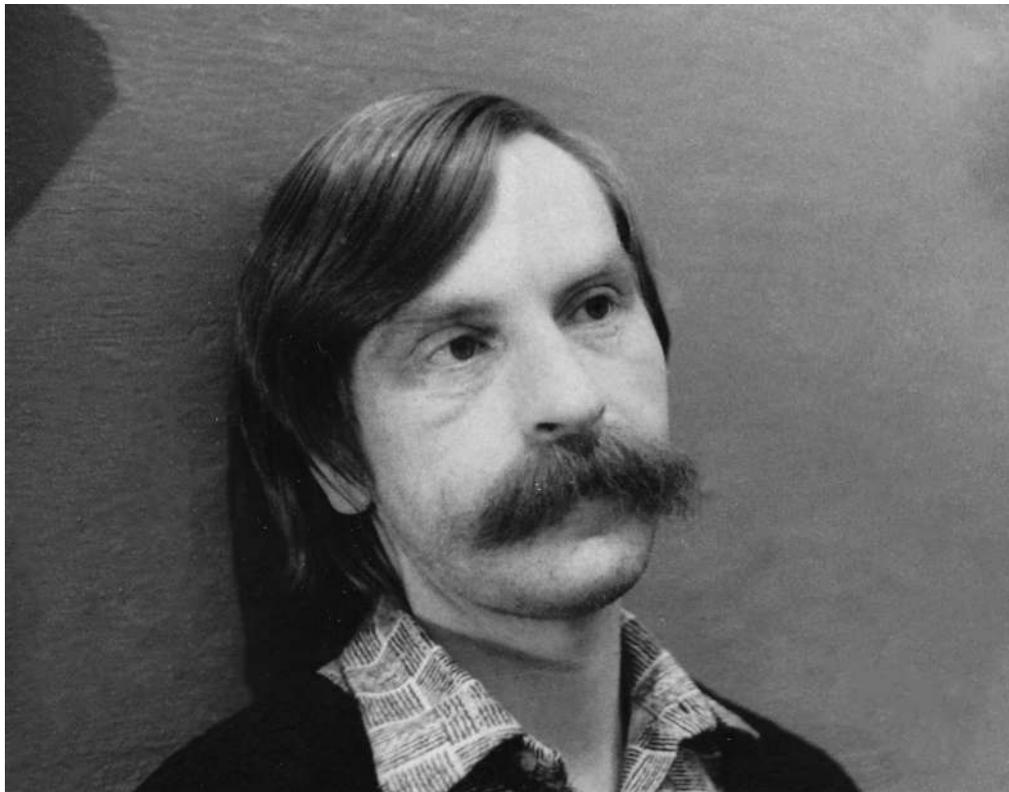


Владимир Ибрагимович. Я никогда не называл его так, разве что несколько раз в шутку, в самом начале знакомства. «Да, — отвечал он мне со всегдашним юмором, — я по-хорошему должен быть Ибрагим-оглы, но уж так получилось...»

Эрль всегда был для меня Володей, по его собственному настоянию. При этом мы оставались на вы.

Совершенно не помню, когда мы познакомились. Но уже весной 1990-го, то есть больше тридцати лет назад, когда я вернулся из поездки в Соединённые Штаты по образовательному обмену и добрался с вещами из аэропорта Шереметьево (в котором меня никто из домашних не встречал) на Речной вокзал, то родственники приветствовали в дверях с загадочным сообщением: «Тут у тебя живёт твой знакомый, этот, ну как его? Не произнести». — «Кто же?» — «Эрль», — исправила положение тогдашняя жена. «Как? А почему вы не сообщили мне в Америку?» — «Ну, мы думали, что ты знаешь, и что всё согласовано», — сказала бывшая жена. Я действительно как-то обронил: «Володя, если что, можете остановиться в Москве у меня». Но совершенно не предполагал, что он так скоро этим воспользуется. Тут в коридоре появился полувиноватый В. Э., напоминавший больше всего свои фотопортреты конца 1970-х, — худощавый, чуть ироничный — и, застенчиво улыбаясь сквозь пышные рыжие усы (бороды он тогда не носил), произнёс: «Я, если можно, поживу у вас ещё». Тесть, тёща и тогдашняя жена не возражали, и Володя прожил ещё целый месяц. Всё это время он занимался подготовкой к печати собрания прозы Вагинова (выверенное и откомментированное совместно с Т. Никольской, оно увидело свет через год в московском «Современнике») и второго, уточнённого издания двухтомника Введенского (был под редакцией Володи и М. Мейлаха напечатан в 1993-м в «Гилее», первое издание под редакцией М. Мейлаха вышло в «Ардисе» в начале 1980-х).

Как мы тогда уместились всемером — родители жены, Эрль, я с женой и сыном и французским бульдогом — в трёхкомнатной квартире, ума не приложу. Сын был перемещён в нашу комнату, Володе был препоручен французский бульдог. В неизбежном хаосе нашего дома (где каждый думал, что другие знают обо всём лучше, а в результате никто ничего не знал наверняка) Володя оказался лёгким жильцом. Себе он практически ничего не требовал, кроме крепчайшего чая, и бесконечно курил «Беломор». Впрочем, в той квартире курили все, кроме тёщи, нашего маленького сына и бульдожки (сейчас я бросил курить, а сын, наоборот, закурил: его черёд бороться с общепринятым). Днём, когда я уходил преподавать



в 57-ю школу, Володя либо тихо сидел над своими корректурами, либо бесконечно пропадал в «Современнике» (кто помнит тянущую нервы из авторов/публикаторов работу с советскими редакторами, тот поймёт почему), либо где-то ещё, но к вечернему обеду он возвращался. Думаю, бесплатный приличный стол был тем, что побуждало его задержаться у нас как можно дольше. Вообще он казался в свои 43 года довольно неустроенным и каким-то неприкаянным. Я бы сказал «как и следует быть поэту», если бы не знал на примере себя самого и друзей, что поэт может существовать иначе.

Моя жена сказала ему как-то: «Володя, давайте я вам хоть пуговицу пришью и рубашку постираю». — «Не надо, с пуговицей я сам (пуговица так и осталась непришитой), а рубашка у меня ещё одна есть!» К концу второго месяца проживания у нас Эрль, наконец, сменил рубашку.

Блеск и обаяние его проявлялись в разговоре, жесте, умении неожиданно подать написанное им и другими. Крайний авангардист в своих лучших вещах, он больше всего ценил точный жест за его однократность, и отнюдь не стремился превратить его, как нынешние актуальные сочинители в легко тиражируемый, пожираемый академической индустрией (и перерабатываемый её организмом

в виде переводов, статей и т. п.) товар. Да я и не уверен, что он тогда (да и после) совпадал с актуальными по существенным вопросам. Совершенно случайно я в период его проживания у нас узнал о большой симпатии В. Э. к мыслителю довольно неожиданного для людей его склада толка. Дело происходило так. После сытного обеда, закурив над чашкой крепчайшего чая привычную беломорину, на крохотной кухоньке той самой квартиры, где с трудом можно было поместиться даже троим-четверым, Володя со спокойной чёткостью и одновременно с важностью, глядя в сторону окна и кухонных плит, произнёс:

*В городском суде играет  
духовой оркестр:  
на скамейке подсудимых  
сам Жозеф де Местр!*

Я начал истерически хохотать, Володя лишь лукаво улыбнулся, хитро моргнув глазом. А, отсмеявшись, я подумал: «Суд-то — не Ленинградский ли городской? Где ещё оказаться автору «Санкт-Петербургских вечеров»?»

Уезжая, Володя подарил мне в благодарность собственный портфель, по его словам, «самую ценную вещь», которая у него была: «Храните его, вы этим портфелем владеете по праву!» Я был чрезвычайно тронут подарком безытного поэта, тем более что знал, что Володю, как на рисунке Галины Блейх, вынесенном потом на обложку «Книги Хеленуктизм» (1993), чаще всего изображали в ту пору в широкополой шляпе, в плаще и с тем самым выдавшим виды легендарным портфелем, в котором он носил виртуозно, с немалой выдумкой отпечатанные на пишущей машинке листки своих и чужих сочинений и корректуры, находившихся в процессе подготовки публикаций. Увы, практической пользы от подарка было мало: портфель оказался ветхим, ничего из своего я ни носить, ни держать в нём не смог, и очень скоро он был ликвидирован вместе с другим «художественным хламом», оставшимся после меня на квартире, где в 1990-м гостил Володя (включая рисунки друзей — то, о чём я жалею больше всего), после того как я расстался со своей тогдашней женой, а ведь тот самый легендарный портфель мог бы быть теперь передан какому-нибудь литературному музею. Володя, узнав о судьбе пропавшего подарка, сильно расстроился. Для него этот портфель был чем-то вроде живого существа.

Из собственных сочинений Володя придавал исключительное значение юношеской повести «В поисках за утраченным Хейфом», написанной в основной своей части ещё в 1960-е, когда автору было 18-19 лет. Название, понятно, отсылало к заголовку эпопеи Марселя Пруста в переводе Адриана Франковского, но в противоположность многим томам французского романа повесть Эрля была крошечной: всего несколько десятков страниц машинописи, трясаясь над которыми как над величайшей ценностью, Володя всё-таки дал почитать сочинение мне.

Действие повести происходит «в будущем», в 1970-е и в прошлом одновременно: одно из действующих лиц (точнее один из многих мужских и женских голосов) «Хейфа» поздравляет адресата «с наступающим 1663 годом». Причём пародия на многоголосный роман в понимании Бахтина здесь не главное. Главное, и предположение это основывается на общении с автором, — запись текста в машинописной версии: абсурдирующая разбивка внутри не помещающихся в строку слов, размыты краёв текста, лесенки и столбцы слов и знаков препинания, включение в прозу того, что мы бы сейчас считали «found literature» (или имитаций таких текстов, якобы написанных другими, — от энциклопедической статьи до частного письма; впрочем, Саша Скидан на основании разговора с Володей указал на целый ряд отнюдь не воображаемых авторов, подвергшихся в «Хейфе» графическому переосмыслению: Владимир Ленин, Лев Никулин, Евгений Пермяк; я тоже припоминаю рассказ Володи о включении в повесть «Апрельских тезисов»), наконец, стихов, которые оказываются в середине размыты, и мы получаем лишь остатки некоторых слов, состоящих из одной, максимум двух букв, например, «й», «ть», «ь», «г». Наконец, там, где возникает сюжетность, как в истории о пассажире, чья свежая платиновая коронка была без особых раздумий выдрана изо рта для восстановления работы заглохшего двигателя катера, мы попадаем в намеренно брутальный мир, живущий — как в последствии у московских концептуалистов — по законам слабо мотивированного эксцесса, мир, заставляющий задуматься о привычном и потому незаметном насилии, окружавшем нас.

Тут следует оговориться: приёмы, поставленные в Москве в 1980-е, что называется, «на поток», были у Эрля более эффектными в силу однократности и того естественного, не выпячиваемого артистизма, с каким они оказывались задействованы. Крепко запомнились и основанные на «небольшом смещении» неологизмы «Лен-ад» (от Ленинграда, я потом им активно пользовался), «экземен». Знал я и о Володином восхищении Беккетом, сделавшим ставку, если выражаться языком другого чрезвычайно ценимого Эрлем автора — А. Введенского, на уважение к «бедности языка», к «нищим мыслям» (что в мышлении Эрля, православного христианина, было куда более верной дорогой в Царствие небесное, чем изощрённое велеречие). Такой радикальной постбеккетовской прозы — или «как бы» прозы, потому что там присутствовали и стихи, — не писал в СССР в 60-е никто. Я также, как хорошо знавший авангардную музыку 1960-х, видел тут прямую связь не с чётко нотированной, а с суггестивной, метафорической, «рисовальной» записью тех или иных партий в партитуре, столь распространившуюся именно в то время, когда юный Эрль сочинял свою повесть, среди продвинутых подсоветских композиторов под влиянием, например, польской сонористики. А реальное (или мнимое) присвоение в «Хейфе» кусков чужого текста с минимальным, но при этом очень ясным авторским смещением — ведь это тоже приём музыки XX века, получивший широкое хождение, начиная с партитур Стравинского. Читал я «Хейфа» одновременно с попавшим мне в руки машинописным томом «Под домашним арестом» Евгения Харитонова, и проза и прозостихи

Володи, в том числе чисто графическое, машинописное её расположение выглядел в сравнении с графическим, машинописным расположением (очень изобретательным) прозы, стихов и прозостихов Евг. Харитоновва более чем неплохо. «В поисках за утраченным Хейфом» оказался во всех смыслах выдающимся текстом — сейчас, когда я знаю о литературе, о мире да и о человеке гораздо больше, чем в 1990-м, тогдашнее убеждение моё только усилилось, причём многократно.

Другой читанный мной прозаический текст — «Вчера, послезавтра и послезавтра» — я думал было напечатать в затеянном мной малотиражном журнале, да в силу того, что спонсор решил переключиться на другой проект, ни один из четырёх подготовленных мной номеров типографии не достиг. Этот текст, правда сказать, впечатлил меня куда меньше.

Однако любимой темой Володиных разговоров на рубеже 1980-1990-х был третий проект, из разряда уже настоящей, а не отчасти симулированной «found literature», так называемые «Письма тёмных людей» — абсурдирующе дословное, со всеми ошибками и, конечно, с добавлением Володиной виртуозной, но при этом чуть-чуть смещающей машинописной графики воспроизведение писем каких-то не слишком образованных корреспондентов с Северного Кавказа, найденных, если я не ошибаюсь, на съёмной квартире в Сочи. Речь шла о дальнейшем развитии работы с уже готовым материалом, которая началась в «Хейфе».

Небывалый артист пишущей машинки, Эрль, когда вышел зелёный том прозы Вагинова, подарил его с каллиграфической дарственной надписью (у меня никогда не было столь ясного и красивого почерка), вложив в том три листка дотошных поправок, не учтённых издательскими редакторами (повторюсь: кто работал с советскими редакторами — понимает почему; они умели тянуть из тебя нервы, но собственную работу исполняли далеко не идеально): листков, напечатанных на пишущей машинке очень странно и одновременно с поразительным изяществом — строчки раскачивались слева направо и обратно, как в стихах. «А автограф?» — поинтересовался я. — «Где?» — выразил недоумение Володя. — «На листках!» Володя написал в самом низу третьего листка, старательно воспроизводя корявый почерк, что у него всё равно не вышло, почерк его даже в корявости был превосходным: «Я тут НЕ ПРИ ЧОМ». «А подпись? Должен же я иметь полноценную коллекцию ваших автографов». — «Будет вам и подпись», — ответил Эрль и нарисовал, как неграмотные в средние века, крест.

Его жилище в ту пору было святилищем, куда допускались только проверенные друзья. Причина была простой. Помимо тьмы редких книг, которые были расположены по полкам в намеренно дезориентирующем порядке, там, рассказанные по самым неожиданным местам, лежали рукописи друзей и подшивки уникального самиздата, например, комплект ейского «Транспонанса», который я с восхищением рассматривал. Володя больше всего боялся, что всем этим редкостям, цену которым он знал прекрасно, может не поздоровиться. Помню, что я подумал, что хочу иметь такую же библиотеку и личный архив. Теперь, после

переездов с континента на континент и трёх разводов мало что уцелело от моего прежнего, тоже с умыслом подобранного собрания книг, архив рассеян по разным городам и хранилищам (что-то из отданного в казённые руки лежит в Пушкинском доме, что-то в Бременском университете), но собственный творческий архив сохранить удалось.

Из многочисленных историй, с Эрлем связанных, хочу рассказать одну — очень характерную. Мы все на рубеже 1980-1990-х начали активно ездить за рубеж. У Володи же, несмотря на приглашения, элементарно не было для этого денег. Он в ту пору жил на зарплату продавца газет в киоске «Союзпечати». Митя Волчек (который не даст соврать и поправит, если что) нашёл остроумнейший выход, который свидетельствовал и о его немалой щедрости: он купил у Эрля полную подшивку собственного «Митинога журнала» вроде как для коллекции. Теперь у Эрля были деньги даже на Америку, но он всё равно никуда не поехал. Помню воследовавший разговор, происходивший уже в Лен-аде. Стояла ранняя осень, Володя сидел на лавке и курил, я нависал с боку: «Но почему, почему вы никуда не поехали? Вы объяснить-то можете?» — сердился я. — «Видите ли, — Эрль начал с чуть наигранной полувиноватостью, — я посоветовался с коллегами по работе (имелись в виду продавцы и продавщицы «Союзпечати»), и понял, что они меня не поймут» (тут Эрль широко развёл руками). Я потерял дар речи, но сейчас мне ответ Эрля не кажется таким уж абсурдным. Он действительно десятилетиями жил без нормальной работы, на грани полной нищеты.

Настоящим культурным и текстологическим подвигом стал огромный посмертный том стихов и прозы Василия Кондратьева, подготовленный в 2007 году Эрлем и покуда в полном объёме не изданный. Вася и Володя не были, насколько мне известно, очень близкими друзьями, но Эрль узнал в Кондратьеве родственную душу — литератора, рано всё понявшего, очень ярко дебютировавшего и шагнувшего далеко за пределы не слишком уютного для него культурно-исторического контекста.

Я начал писать эти заметки 25-го сентября, когда Эрля не стало, а заканчиваю после похорон и отпевания 3 октября. Завтра, которое ещё не наступило с моей стороны земли, но уже начинается в вашем, Володя, городе, будет девять дней. Поэтому я выпью в память о Владимире Ивановиче Горбунове, более известном как «Владимир Ибрагимович Эрль», стопку хорошей водки. Светлая вам память, Володя, как дивно, как хорошо было с вами и в русской литературе, и в жизни!